

## ГЛАВА IV

### ПРОБЛЕМЫ ВРЕМЕНИ, МЕСТА ПЕРЕВОДА И ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАМЯТНИКА В ДРЕВНЕРУССКУЮ ПИСЬМЕННУЮ КУЛЬТУРУ

Вопрос о времени перевода сочинения Козьмы Индикоплова на древнеславянский язык останется открытым до тех пор, пока не будет выполнен текстологический анализ всех полных дошедших списков памятника. Однако и анализ сохранившихся фрагментов сочинения в какой-то мере может приблизить к решению этой проблемы, а отдельные наблюдения над текстом отрывков связать с объяснением сложной истории сочинения в древнерусской письменной традиции.

О том, что «Христианская Топография Козьмы Индикоплова» была известна древнеславянским книжникам в раннюю эпоху освоения ими византийской христианской письменности, писали многие исследователи. Так, И. Дуйчев считал, что, вероятно, в Болгарии в X в. и был выполнен перевод сочинения Козьмы.<sup>1</sup> Напротив, А. И. Соболевский, как мы уже отмечали в главе I нашей работы, рассматривал «Христианскую Топографию» в ряду памятников, переведенных на Руси в домонгольский период.<sup>2</sup>

Хотя ученый и не использовал для своих выводов списки Топографии ранее XVI в., однако известное издание памятника в древнерусской версии по списку из собрания Оболенского позволило на основании выдвинутых им критериев лексического анализа переводных сочинений сделать вывод о восточнославянском (древнерусском) характере перевода. И. И. Срезневский также предполагал, что перевод сочинения Козьмы мог быть известен древнерусским книжникам ранее XV в.<sup>3</sup> В. М. Истрин с уверенностью писал о принадлежности перевода памятника древнерусским писцам.<sup>4</sup>

Для понимания проблем изучения памятников переводной письменности следует более подробно осветить некоторые историографические этапы исследования этой историко-филологической области знания. Как известно, впервые вопросы исследования древнерусских переводов домонгольского периода поставил в докладе на IX Археологическом съезде в 1893 г. А. И. Соболевский.<sup>5</sup> Он также выдвинул и определенные языковые критерии, позволившие локализовать место перевода (южнославянский или восточнославянский). Основным критерием для определения места перевода служит лексический анализ. В свою очередь при анализе лексики переводного сочинения необходимо обращать внимание, как считал А. И. Соболевский, на три группы слов:

[105] «1. Слова славянские по происхождению со специальными значениями: название должностных лиц, монет, мер веса и расстояния, судов, одежд, напитков и т. п. вроде: посадникъ, староста, гривна, куна, рѣзана, насадъ, кожухъ. Большая часть подобных слов совсем не встречается в церковнославянских текстах южнославянского происхождения; меньшая встречается, но в других значениях. <...>

2. Слова, заимствованные русским языком из других языков, между прочим из греческого, с самыми разнообразными значениями, вроде: тiунъ, шелкъ, плугъ, женчугъ, уксусъ, скамия, кадъ, керста или корста (ящик, гроб), пѣря (парус), обезьяна. Подобные слова или совсем неизвестны в церковнославянских текстах южнославянского происхождения, или известны в других значениях.

3. Название городов, народов и т. п., хорошо известных русскими неизвестных или малоизвестных южным славянам, названия, отличные от названий, употреблявшихся греками, вроде Корчева, Сурожъ, Судъ, то Στενόν мурманинь (норвежец, норманн), обезъ (грузин).

Кроме слов, принадлежащих к этим трем группам и имеющих решающее значение

в вопросе о месте перевода, не лишены важности многие другие слова и выражения, которые или совсем не встречаются в церковнославянских текстах южнославянского происхождения, или встречаются редко и которые вместе с тем находятся в памятниках несомненно русского происхождения или в живых русских говорах, т. е. слова и выражения вроде: хвостъ, глазъ, пирогъ, коверъ, думати (советоваться), учити грамотъ, въ то чина (в то время) и т. п.»<sup>6</sup>

Эти критерии лексического анализа, особенно для памятников, богатых фактическим материалом повествования, остаются верными и по сей день, хотя изучение этой области знания не остается неизменным и в течение XX столетия неоднократно подвергалось не только углубленному развитию, но и пересмотру определенных положений. Именно эта конкретно-источниковедческая область изучения памятников переводной славяно-русской письменности тесным образом связана и с проблемами формирования техники перевода и средневековой русской литературы, и литературы нового времени, и с истоками определенных переводческих школ и традиций.<sup>7</sup>

После исследований А. И. Соболевского, указавшего несколько десятков текстов памятников, которые, возможно, были переведены на Руси в эпоху домонгольского нашествия, ученые сосредоточили свои усилия на изучении каждого отдельного переводного памятника, отмечая традиционные и оригинальные черты языка сочинения. Как известно, в исторической науке утвердилось обоснованное представление о том, что большая часть переводных памятников письменности появилась на Руси через болгарское посредничество. Так как Болгария приняла христианство более чем на век раньше Руси, то естественно, что христианские памятники традиционного содержания, необходимые для отправления богослужения, а также хронографические, агиографические и нарративные были переведены уже книжниками Кирилло-Мефодиевской и Симеоновской школ.

[106] Болгария выступила посредницей, передавшей Древней Руси богатства христианского письменного наследия.<sup>8</sup> Особенно подробно роль древнеболгарской литературы-посредницы рассмотрена в трудах А. А. Алексева, Б. Ангелова, Д. М. Буланина, В. Велчева, Н. К. Гудзия, П. Димитрова, И. П. Еремина, П. Динкова, В. Д. Кузьминой, Д. С. Лихачева, Н. А. Мещерского, В. А. Мошина, В. П. Адриановой-Перетц, О. В. Творогова, Д. Петковой-Тотевой и др. Д. С. Лихачев в сложной истории изучения взаимодействия и влияний средневековых славянских памятников письменности установил явление трансплантации византийской культуры на славянскую почву. Однако этому процессу не были присущи черты механического проявления, а, как предполагает Д. С. Лихачев: «Элементы византийской культуры, трансплантированные в славянские страны, сильно модифицировали эту византийскую культуру, существовавшую у себя на родине. Византийская культура в славянских пределах была порождена византийской культурой, выросла на ее основе, но она не была ей тождественна. Славянская „рецепция“ византийской культуры имела поэтому собственное лицо. Это было некоторое новое единство религий, воззрений на мир и общество, литературы, живописи и архитектуры». «Постановка же вопроса о непосредственном переводе памятников византийской письменности в Древней Руси без существования возможного их перевода уже у южных славян вытекает из текста «Повести временных лет» под 1037 г., где говорится о том, что Ярослав Мудрый «любя церковным уставы, попы любяще по велику, излиха же черноризьць, и книгамъ прилежа и почитая е часто в нощи и въ дне; и собра пнсцьць многы, и прекладаше от грекъ на словѣньское писмо, и списаша книги многы и сниска, имиже поучашеся вѣрнии людье, наслажаются ученья божественаго».<sup>10</sup> Можно рассматривать этот текст и как раннее упоминание дошедших источников о том, что уже в первой половине XI в. в Киеве зародилась школа книжников и переводчиков. Достоверность этого известия никогда не подвергалась каким-либо сомнениям отечественными исследователями. Более того, именно с деятельностью этого круга книжников связывают определенный период в истории древнеславянской переводной письменности, локализованный Киевской Русью. Это так называемый

третий (после Кирилло-Мефодиевского и Симеоновского) период расцвета переводческой деятельности славянских книжников, осваивавших богатое культурно-историческое наследие и обогативших ниву славянского просвещения.<sup>11</sup> По наблюдениям А. И. Соболевского и В. М. Истрина, для этого периода были характерны переводы хронографических и агиографических памятников. Вершиной мастерства переводчиков этой школы можно считать перевод текста «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия.<sup>12</sup> К этому кругу переводных сочинений могут быть также отнесены: «Александрия»,<sup>13</sup> «Христианская Топография Козьмы Индикоплова»,<sup>14</sup> «Повесть об Акире Премудром»,<sup>15</sup> «Хроника» Георгия Синкелла,<sup>16</sup> «Житие Василия Нового»<sup>17</sup> и др. Анализ текстов дошедших памятников позволяет предполагать, что переводы осуществлялись не только с греческих текстов, но с еврейского и сирийского языков.<sup>18</sup> Можно говорить о высоком уровне [107] мастерства переводчиков, об определенных критериях отбора византийских сочинений, к которым обращались древнерусские книжники. И исследователи византийской культуры, привлекая для изучения переводную древнеславянскую письменность, отмечали своеобразие техники перевода книжников и вплели в нее определенную самостоятельность; в частности, Е. Э. Липшиц писала: «В отличие от современных переводчиков литературных памятников, переводчики средневековья далеко не всегда и далеко не во всем стремились точно воспроизводить оригиналы. Они подходили к материалу более активно... Не следовало ли бы поставить вопрос о том, что, может быть, и славянские переводчики подобным же образом творчески пересматривали текст, приспособляя его ко вкусам своей страны, своего народа и своего времени?»<sup>19</sup>

Н. А. Мещерский, сравнивая греческий оригинал и древнерусскую версию «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, пришел к убеждению, что перевод этого сложного хронографического сочинения, богатого фактическим материалом, был осуществлен книжниками, свободно владевшими переводческими приемами. И это позволяет говорить о существовании в Киевской Руси определенного рода искусства, искусства перевода. Н. А. Мещерский считал: «Свобода перевода, таким образом, связывается с высоким литературным мастерством, свидетельствующим о незаурядных дарованиях переводчика как художника слова и о высоком уровне развития русского литературного языка того времени.

Свобода перевода и литературное мастерство переводчика проявляются в следующем: а) естественный порядок слов, независимый от порядка слов оригинала; б) конкретизация общих отвлеченных понятий; в) художественное распространение описания, преимущественно боевых эпизодов; г) приспособление к русским понятиям того времени и насыщение особенностями русского быта; л) внесение прямой речи и диалога взамен косвенной речи и повествования о событиях в оригинале; е) широкое использование метафор, сравнений и развернутых образных выражений, не имеющих соответствия в греческом тексте, частое применение фразеологических средств русского языка; ж) эмоционально насыщенные описания природы, данные гораздо ярче и красочнее, чем в оригинале; з) использование звуковой организации речи, рифмы и ритмического членения фраз».<sup>20</sup>

Как видим, руководствуясь, в основном, выдвинутыми критериями А. И. Соболевского в области изучения памятников переводной письменности, а также столь конкретно разработанными Н. А. Мещерским положениями, отличающими восточнославянский перевод Киевской поры от южнославянских переводов, можно было бы проверить применительно к тексту «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова» правомерность утверждения о существовании древнерусской версии сочинения Козьмы в книжной среде уже в XI — начале XIII вв. Но после опубликования и осмысления современными исследователями, особенно работ А. И. Соболевского, В. М. Истрина, М. Н. Сперанского, А. С. Орлова, Н. А. Мещерского, Д. С. Лихачева, И. С. Дунчева, а также подготовленных изданий о цельных [108] памятниках («Хроники» Георгия Амартола, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и др.) проблемы изучения переводной славяно-русской письменности стали предметом пристального внимания со стороны отечественных и зарубежных ученых.

И яркое проявление этих тенденций характерно для 70—90-х гг. XX в.

Прежде чем рассмотреть те проблемы и вопросы, которые связаны с изучением переводной славно-русской письменности этого периода, остановимся несколько подробнее на одном из интересных направлений, которое разрабатывалось очень продуктивно в 50—60-е гг. XX в. После известных работ В. М. Истрина, А. С. Орлова в отечественной и зарубежной науке особенно тщательному рассмотрению были подвергнуты аспекты изучения синтаксиса переводной славяно-русской письменности. Начиная с IV Международного съезда славистов этой теме был посвящен ряд исследований.<sup>21</sup> И Н. А. Мещерский в своих изысканиях также обращается к проблемам синтаксиса переводных славяно-русских произведений.<sup>22</sup> Обобщив известные ему наблюдения славистов XIX и XX вв., он пришел к следующим выводам: «О характере синтаксического строя в древних славяно-русских письменных памятниках, преимущественно переведенных с греческого языка, уже неоднократно высказывались взаимно исключающие научные суждения. Среди этих высказываний можно выделить две основные группы. Одни ученые оценивали самостоятельность синтаксического строя в языке этих произведений пессимистически. ...Высказывались и иные, более оптимистические в смысле оценки синтаксической самостоятельности древних славяно-русских переводных памятников научные взгляды».<sup>23</sup> Особое внимание Н. А. Мещерский уделил наблюдениям М. М. Маковского, который рассмотрел на материале древнегерманских языков проблему «автохтонности синтаксических моделей при анализе отклонений от оригинала».<sup>24</sup> Основные выводы автора о том, что внешнее сходство синтаксических конструкций оригинала и перевода «не всегда свидетельствует об обязательном влиянии первых на вторые. Такое сходство нередко может быть обусловлено не только общеиндоевропейским характером тех или иных синтаксических явлений, но иногда и обратным влиянием древнегерманских синтаксических моделей на греческий или латинский синтаксис», — в полной мере могут быть применены и при изучении взаимодействий между синтаксическими конструкциями греческого и славяно-русского литературно-письменного наследия.<sup>25</sup> Далее очень важным является предложенная Н. А. Мещерским классификация переводных памятников письменности в связи с изучаемой синтаксической проблематикой. Так, исследователь считал, что в истории переводной славяно-русской письменности можно выделить два типа сочинений, различающихся по их содержанию и целевому назначению и по степени их близости к переводным оригиналам: «К первому типу произведений относятся все памятники догматического, канонического или литературного назначения. Сюда принадлежат переводы евангелий, псалтири, служебников, миней и т. п. Эти переводы отличаются дословностью и большой близостью к синтаксическим конструкциям оригинала. Второй тип произведений включает в себя различные повествовательные памятники, не имеющие непосредственно церковно-религиозного значения. Наиболее ярким примером переводов названного типа следует считать известный древнерусский перевод „Истории Иудейской войны“ Иосифа Флавия, сделанный с небывалой по тому времени свободой и содержащий значительное количество пропусков и, в особенности, характерных добавлений переводчика. Это, скорее, творческая переработка греческого подлинника, чем в полном смысле слова перевод. Древнерусский переводчик ставил перед собой идеологические и стилистические задачи, совершенно не вытекающие из содержания и формы переводимого греческого сочинения».<sup>26</sup>

В несколько меньшей степени отклоняющимися от оригинала, но не передающими его буквально, мы можем признать такие произведения хроникально-повествовательного жанра, как «Хроника» Георгия Амартола, «Хроника» Иоанна Малалы, «Александрия», «Повесть об Акире Премудром», «Девгениево деяние» и др. Естественно, что наибольшие возможности для сопоставления по синтаксическим моделям с оригиналом представляют переводы первого типа. Что же касается переводов второго типа, то их сопоставление с подлинником возможно далеко не на всем протяжении текста, древнерусский же перевод «Истории Иудейской войны»

Иосифа Флавия почти не поддается сопоставлению с оригиналом в синтаксическом отношении.<sup>27</sup>

Для убедительности своих позиций, укрепляя их аргументированностью работами и наблюдениями ученых XIX—XX вв.: А. В. Горского, И. Е. Евсеева, В. М. Истрина, М. М. Копыленко, Г. Бирнбаума и других, Н. А. Мещерский особенно подробно останавливается на методике исследования, связанной с изучением синтаксических конструкций переводного памятника, которую предложил Г. Бройер.<sup>28</sup> Свои выводы Г. Бройер сделал на основании наблюдений над текстами «Хроники» Георгия Амартола и «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. В качестве основных положений для своего исследования ученый рассмотрел употребление форм сослагательного наклонения в старославянском и древнерусском языках, при этом он выделил два типа построения придаточных предложений цели и дополнительных придаточных предложений цели, которые зависят от глаголов со значением «просить», «приказать». Результаты выполненных исследователем статистических подсчетов позволили установить следующую закономерность; тип структурного предложения с союзом *да* (или *дать*, *ать*, и под.) и сказуемым в сослагательном наклонении характерен для древнерусских письменных памятников; а тип предложения с теми же союзами, но с глаголом-сказуемым в изъявительном наклонении, свойствен, напротив, для памятников южнославянского происхождения, болгарских, собственно старославянских. Следуя далее своим положениям и установленной зависимости, Г. Бройер показывает, что предложения первого типа характерны для тех страниц «Хроники» Георгия Амартола и «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, «где одновременно с этим отмечается характерная древнерусская лексика, отсутствующая в старославянских памятниках и дававшая основание В. М. Истрину и А. И. Соболевскому считать эти произведения переведенными в Киевской Руси, а не на славянском Юге. Наоборот, те страницы, которые не содержат подобной лексики, наполнены предложениями второго типа, то есть, по мнению Г. Бройера, характерными для южнославянских памятников».<sup>29</sup>

Все эти положения и наблюдения позволили Г. Бройеру сделать дальнейшие обобщающие выводы для понимания историко-культурного процесса. Так, по мнению ученого, выявленные особенности древних славяно-русских переводов связаны с тем, что перед нами труд не одного переводчика, «но нескольких, среди которых были как уроженцы Киевской Руси, так и выходцы из Болгарии, работавшие при дворе киевского князя Ярослава в XI в. Те места памятника, где преобладают предложения первого типа и обнаруживается характерная восточнославянская лексика, переведены будто бы переводчиком по своей языковой принадлежности русским, те же места, где встречаются предложения второго типа и отсутствует характерная древнерусская лексика, представляют собой труд переводчика-болгарина».<sup>30</sup>

Эти выводы Г. Бройера Н. А. Мещерский подверг критике и привел данные своего выполненного выборочного анализа IV книги «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. Действительно в этой части текста содержатся придаточные предложения установленных Г. Бройером обоих синтаксических типов, а что касается характерной восточнославянской лексики, то именно она выявляется в тех частях текста, для которых, по классификации Г. Бройера, характерны синтаксические конструкции предложений второго типа, т. е. южнославянского. Более того, для большей убедительности своей аргументации Н. А. Мещерский привел материалы из оригинальных памятников древнерусской письменности, летописного жанра, берестяных грамот и других, показывающие, что синтаксические конструкции предложений второго типа по классификации Г. Бройера нельзя считать по своему происхождению безусловно старославянскими. А так как Н. А. Мещерский проделал громадную сопоставительную работу древнерусского перевода «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и оригинала, то можно принять его утверждение: «Наиболее же сильным доводом против предположения Г. Бройера о том, что „История Иудейской войны“ Иосифа Флавия могла быть переведена не одним переводчиком, а целой комиссией, в составе которой находились как болгары, так и жители Киевской

Руси, является необыкновенное стилистическое единство всего перевода, проявляющееся и в употреблении на всем протяжении текста одних и тех же редких слов, одинаковых синтаксических приемов».<sup>31</sup> Итак, Н. А. Мещерский говорит о несостоятельности наблюдений над синтаксическими конструкциями переводной славяно-русской письменности в решении вопросов о языковой и национальной среде переводчиков. Таким образом, ученый подтверждает выдвинутые и обоснованные А. И. Соболевским и В. М. Истриным положения о лексическом критерии для определения южнославянского или древнерусского происхождения перевода. Именно характерная лексика остается устойчивым компонентом в процессе копирования и редактирования средневековыми книжниками переводного сочинения. Н. А. Мещерский предложил также и перспективное направление в области изучения переводной славяно-русской письменности. Оно [111] связано с изучением византийского гимнологического наследия, сохранившегося в рукописях начиная с XI в. Дошедшие списки миней, триодей, октоихов, ирмологиев и кондакариев являются неотъемлемой частью всемирного поэтического наследия. Обращение к этим несметным рукописным сокровищам — долг ученых и продолжение традиций, заложенных изданиями В. И. Ягича в конце XIX в. и подхваченных Э. Кошмидером уже в середине XX в.<sup>32</sup>

Заключая наше изложение точки зрения Н. А. Мещерского на исследование переводной славяно-русской письменности, позволим привести отдельные строки из его труда: «Безымянные и безвестные славянские переводчики осуществили в X—XII вв. подлинно титанический труд, передав на своем родном языке в поэтической форме многотомные собрания стихир, тропарей, кондаков и канонов. Эти переводчики были одаренными поэтами с тонким слухом и чутьем родного славянского слова. Вряд ли они занимались специально подбором аллитерирующих сочетаний, когда складывали поэтические строки своих переводов. И чем не менее мы обнаруживаем в их творениях необычайное эвфоническое и музыкально-образительное богатство. <...> Если мы вправе наслаждаться искусством в стройных пропорциях храма Покрова на Нерли или видеть торжество и пир красок в бессмертных картинах-иконах Андрея Рублева, то с не меньшим правом наши филологи могут и должны уметь обнаруживать и в безымянных творениях древних славяно-русских переводчиков торжество и пир звуков, торжество и пир слов».<sup>33</sup> А со своей стороны добавим, что не только филологи, но и историки, и исследователи культуры и искусства должны быть равноправными участниками этого духовного пира и его высокого торжества.

Итак, вернемся к рассмотрению чех научных обстоятельств, которые появились в историко-филологической науке в 70—90-е гг. XX в. в связи с пристальным вниманием исследователей к изучению древнеславянского письменного наследия. Наиболее подробно и тщательно эти вопросы рассмотрены в уже упомянутом нами сочинении Д. М. Буланина.<sup>34</sup>

В центре внимания исследователи оказались и теоретические проблемы изучения переводной древнерусской литературы как предшествующего этапа в контексте истории русской переводной художественной литературы, и многообразные темы изучения конкретных памятников славяно-русской письменности. Следует отметить, что историю изучения переводной древнерусской литературы (а в широком смысле древнеславянской и древнерусской письменности) автор подверг строгой критике. Прежде всего, Д. М. Буланин вводит в процесс изучения переводной письменности Древней Руси жесткие критерии понятийного аппарата, «более дробную, а потому более конкретную периодизацию» истории переводной славяно-русской письменности. Свою работу автор считает подготовительным этапом для исследователей, которые в будущем напишут общую историю славянских переводов, а потому ему предстоит «более скромная задача настоящего очерка, который, быть может, облегчит труд будущего историка, сводится к обсуждению трех вопросов. принципиальных для характеристики переводов: как переводили? когда переводили? что переводили?».<sup>35</sup> Д. М. Буланин в своем ис[112]следовании, строго говоря, придерживается точки зрения Р. Пиккио о существовании определенной

исторической культурной общности — *Rex Slavia orthodoxa*, и в рамках этой выделенной средневековой европейской цивилизации он и рассматривает историю переводной славяно-русской письменности. Стараясь быть максимально объективным, исследователь в своих положениях пытается оставаться вне историографических традиций ученых как упрекающих древних переводчиков в буквализме, так и воздающих хвалу их высокому мастерству свободы перевода.<sup>36</sup> Наиболее ярко, по мнению Д. М. Буланина, эти полярные точки зрения представлены работами Ф. Томсона<sup>37</sup> и Н. А. Мещерского.<sup>38</sup> Точка зрения Н. А. Мещерского — это «реликт романтического восприятия истории». Д. М. Буланин связывает подход Н. А. Мещерского с положениями эстетики романтизма, всегда высоко оценивающей творческую личность. (Это совершенно справедливое замечание, если учесть, что Н. А. Мещерский в годы своей молодости общался и работал с В. М. Истриным, выдающимся филологом-славистом, учителями которого были Н. С. Тихонравов, Ф. Ф. Фортунатов и Ф. Е. Корш.) Д. М. Буланин убежден, что при исследовании древних переводов «современный историк обязан придерживаться исторического принципа, „переводы нельзя оценивать вне исторического контекста и общественного назначения перевода“». <sup>39</sup> В данном случае ученый разделяет взгляды С. Матхаузеровой.<sup>40</sup> Особое внимание Д. М. Буланин в своем исследовании уделяет буквализму средневекового перевода, считая его неотъемлемой чертой пословного принципа перевода, характерного для древнеславянской письменности. И именно эта традиция связана, согласно точке зрения ученого, с существованием единой теории перевода. И в отличие от ученых, которые считали и считают средневековых славянских книжников малообразованными и невежественными, допустившими многочисленные ошибки в своих переводах (имеются в виду критические положения, содержащиеся, например, в трудах А. Лескина, С. Б. Бернштейна, Ф. Томсона), Д. М. Буланин придерживается противоположных взглядов.<sup>41</sup> Следует обязательно объяснять все ошибки переводчиков, а не только их указывать. Следование пословному принципу перевода часто шло в ущерб смыслу памятника, чему способствовали и неправильно понятое графическое сходство алфавитов, и перенос сложных синтаксических конструкций, нехарактерных для славянского языка, и т. п. изменения. Отмечая тот важный источниковедческий факт, что в культурном наследии *Slavia orthodoxa* не сохранилось трактатов по теории словесности, вслед за Р. Пиккио Д. М. Буланин считает, что «средневековые книжники озабочены не мастерством и не удобочитаемостью перевода, а его доктринальной правомерностью. Они не столько обосновывают свой метод работы, сколько выясняют, как, переводя, не причинить ущерба христианскому учению. Теория перевода оказывается одной из форм исповедания веры, так что точнее было бы говорить не о теории, а о доктрине».<sup>42</sup> Рассматривая весь литературно-исторический процесс древнерусской письменности XI—XVII вв., Д. М. Буланин уточняет схему истории теорий славянских переводов, выдвинутую С. Матхаузеровой. Исследовательница предложила различать пять теорий перевода: «открытую» теор[и]ю, «вольный» перевод, теорию перевода «от слова до слова», «грамматическую» и «синтетическую».<sup>43</sup> По утверждению Д. М. Буланина, теориями перевода можно считать только четвертую и пятую. При этом и им можно дать одно название, «потому что грамматическая» и «синтетическая» теории — это два этапа в развитии одной и той же концепции. Ее мы назовем грамматической, потому что она в противоположность более древним представлениям ограничивала божественную предустановленность языка его собственными законами, изучающимися грамматикой. Первые три направления в схеме С. Матхаузеровой обсуждают одну и ту же концепцию перевода, которую мы будем называть теорией или доктриной пословного перевода. Двойная природа языкового знака — единство обозначающего и обозначаемого наиболее полно выявляется на лексическом уровне. Слово стало основной единицей перевода, потому что переводческая доктрина средневековья требовала передачи оригинала в его двуединстве — совокупность содержания и формы».<sup>44</sup> Вторая же концепция теории перевода — грамматическая (по терминологии С. Матхаузеровой). Ее Д. М. Буланин не только всецело принимает, но необычайно аргументированно расширяет ее

философско-эстетические положения на анализе материалов творческой деятельности Максима Грека. Важные наблюдения Д. М. Буланина связаны и с историей всего процесса существования переводной письменности Древней Руси XI—XVII вв., когда он рассматривает и переводческую деятельность XVII в., не затушевывая разногласий между взглядами на «поновление» текстов старообрядцев и грекофилов. При этом ученый подчеркивает и необычайную сложность и запутанность многих выполненных переводов грекофилов, когда «пословный» принцип исполнялся ими чересчур усердно.<sup>45</sup>

Большое внимание в своем исследовании Д. М. Буланин уделяет и вопросам периодизации древнерусской переводной письменности, принимая в целом стройную (по отдельным векам) классификацию русско-южнославянских литературных связей X—XV вв. В. Мошина<sup>46</sup> и вместе с тем отвергая принцип максимального обособления южнославянской и восточнославянской письменности, который настойчиво выдвигался в последние десятилетия XX в. Ф. Томсоном.<sup>47</sup> Ф. Томсон упрощает всю историю древнеславянских переводок и различает при этом два неравноценных периода: 1) IX — середина XV вв., когда выполнялись только южнославянские переводы; 2) середина XV—XVII вв., когда выполнялись только восточнославянские переводы. Д. М. Буланин же предлагает свою «более дробную, а потому конкретную периодизацию».<sup>48</sup> Д. М. Буланин, обосновывая свою периодизацию, критически относится к положениям Ф. Томсона и отмечает, что классификация страдает замалчиванием и игнорированием целого ряда историко-культурных и литературных фактов и явлений, требующих объяснения. В частности, Ф. Томсон совсем не учитывает факты влияния киевской письменности на южнославянскую, не учитывает специфический характер переводов новгородской школы XV в. и т. п. проблемы.

Итак, Д. М. Буланин различает следующие периоды в истории переводной славянской письменности: моравский (вторая половина [114] IX в.); болгарский (80-е гг. IX в. — начало XI в. (?); киевский (середина XI в.—1262 г.); южнославянский (первая половина XIV—XV в.); беспереводный (до Смутного времени); подготовительный и переходный (весь XVII в.). Не подвергая никаким сомнениям предложенную Д. М. Буланиным классификацию, мы рассматриваем ее как необходимый этап в изучении переводной славяно-русской письменности на современном этапе познания. Отметим некоторые важные для нас обстоятельства отдельных, выдвинутых Д. М. Буланиным положений. В частности, отмеченные Д. М. Буланиным связи между выделенными им болгарским и киевским периодами, а при перечислении текстов памятников, которые были переведены книжниками на этом этапе славянского просвещения, находим и особенно интересующие нас тексты хронографических сочинений и «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова».<sup>49</sup> А так как Д. М. Буланин очень подробно рассматривает историографическую традицию изучения особенностей репертуара переводной письменности, обращаясь к работам И. П. Еремина, Ф. Томсона, О. В. Творогова и других, и при этом старается выдержать максимально объективную позицию по отношению к своим оппонентам, мы вправе разделить его точку зрения. И считаем также, что только конкретное источниковедческое и сравнительно текстологическое изучение каждого дошедшего переводного сочинения позволит в дальнейшем написать полное исследование по истории славяно-русской переводной письменности.

И полностью также разделяем высказывание Д. М. Буланина о роли старообрядческой традиции и истории переводной письменности Древней Руси.<sup>50</sup>

Во многом продолжающей и развивающей направления исследования проблем, освещенных в работе Д. М. Буланина, является статья А. А. Алексеева.<sup>51</sup> В статье А. А. Алексеева, помещенной в разделе «Дискуссия», рассматриваются аргументы Ф. Томсона по поводу невозможности существования самостоятельных средневековых восточнославянских переводов и излагаются контраргументы, основанные на изучении древнерусского письменного наследия. Прежде всего А. А. Алексеев высоко оценивает исследования А. И. Соболевского и его роль в изучении славяно-русского и восточнославянского письменного наследия. И вместе с тем А. А. Алексеев, как и Д. М. Буланин, считает написание истории древнерусской литературы делом будущих



исследователей. Он отмечает: «Преобладание внимания в отечественной науке к оригинальной восточнославянской письменности привело к определенному искажению общих культурных пропорций Древней Руси: тот христианский фон, который составлялся, прежде всего, из переводов, выполненных у южных славян, оказался написан слишком обобщенно, невыразительно. Между тем христианство в качестве исторического феномена имеет не только специфически присущие ему византийские формы, у славян ему были приданы также некоторые местные особенности. Являясь наднациональной религией, в своих проявлениях христианство тесно связано и с языком, и с социальной структурой всякой исторически существующей общины. Потому история древнерусской литературы может быть хорошо написана только после истории бо[115]гословской литературы в Древней Руси или, по крайней мере, вместе с нею».<sup>52</sup>

А. А. Алексеев обращает внимание исследователей и на тот факт, что из указанных А. И. Соболевским произведений, переведенных восточными славянами, «были с большим или меньшей полнотой изучены Студийский устав, Христианская космография Козьмы Индикоплова, Иудейская война Иосифа Флавия, Александрия русских хронографов, Есфирь, Повесть об Акире, Девгениево деяние, Сказание о 12 снах царя Шахайши, Песнь песней с толкованиями. Житие Андрея Юродивого, Повесть о Варлааме и Иоасафе, а также в гораздо меньшей степени Толкования на апостольские Послания».<sup>53</sup> Далее А. А. Алексеев приводит и сведения из лекций Н. И. Дурново,<sup>54</sup> для которых также был составлен список восточнославянских переводов, и отмечает, что «его составитель фактически очень редко высказывается с определенностью о происхождении текстов, ограничиваясь перечислением существующих взглядов».<sup>55</sup> А. А. Алексеев подчеркивает, что его критика Ф. Томсона как раз и связана с анализом этих двух списков (А. И. Соболевского и Н. И. Дурново). Как в изложении А. А. Алексеева утверждение Ф. Томсона о невозможности существования переводов киевской поры связано с анализом списков приведенных произведений у А. И. Соболевского и Н. И. Дурново. А. А. Алексеев замечает, что вся критика Ф. Томсона построена на пяти положениях: «(1) Неверно предположение, что лексика текстов устойчива. Обычно она заменяется при переписке. (2) Суждения о лексическом составе того или иного текста надежны только тогда, когда основаны на изучении кодикологической и текстологической традиции. (3) Невозможно уверенно выделить восточнославянские лексемы; часть названных А. И. Соболевским в качестве русизмов слов известна за пределами восточнославянских рукописей. (4) Если восточные славяне и могли делать переводы, то только за пределами Руси, в Константинополе, на Афоне. (5) Восточные славяне не знали греческого языка, иначе они не цитировали бы отцов церкви по славянским переводам, но обращались бы также и к греческим оригиналам».<sup>56</sup>

Отмечая справедливость первых трех контраргументов Ф. Томсона по отношению к исследованиям А. И. Соболевского. А. А. Алексеев подчеркивает, что их некоторая устойчивость и «размытость» давно уже принималась отечественной наукой, да и сам А. И. Соболевский понимал предварительный характер своих наблюдений.<sup>57</sup> А. А. Алексеев выступает против утверждений Ф. Томсона, что исследователи переводной славяно-русской письменности лишь механически повторяют высказывания А. И. Соболевского. А. А. Алексеев отстаивает точку зрения, что последующие поколения ученых, независимо от А. И. Соболевского, применяя его методику, своими путями и научными поисками пришли к определенным достоверным выводам. А. А. Алексеев отмечает также и тот факт, что Ф. Томсон по существу не рассмотрел подробно точки зрения исследователей 20-х гг. XX в.: Н. И. Дурново, В. М. Истрина, И. А. Лаврова, М. Вейнгарт, В. Розова, которые активно высказывались по лингвистическим проблемам древних восточнославянских переводов.<sup>58</sup> Этот факт следует признать положительным явлением в истории изучения переводной славяно-русской письменности.

Очень убедительно, на наш взгляд, А. А. Алексеев «разбивает» и четвертый пункт контраргументов Ф. Томсона, подчеркивая, что критерии А. И. Соболевского вполне приложимы к изучению текстов, выполненных вне пределов Древней Руси. И,

следовательно, тем самым и должен быть признан факт существования восточнославянских переводов.<sup>59</sup> Более того, на основании текстологического анализа материалов Песни песней А. А. Алексеев убедительно показывает особенности техники перевода памятника, по сравнению с южнославянскими текстами.<sup>60</sup>

Особое внимание А. А. Алексеев уделяет в своей статье выводам Г. Ланта об известии «Повести временных лет» под 1037 г. А. А. Алексеев подчеркивает необоснованность критики текста о деятельности Ярослава Мудрого, который почитал книжную премудрость, «и собра писцѣ многы, и прекладаше от грекъ на словѣньское письмо, и списаша книги многы, и сниска, имиже поучашеся вѣрнии людье наслажаются ученья божественаго».<sup>61</sup> В этом отрывке Г. Лант видит следы сильно искаженного текста и считает, что речь идет не о переводах древнерусскими книжниками с греческого языка, а о том, что доставленные из Болгарии книги были транслитерированы с глаголического письма в кириллическое. А. А. Алексеев подчеркивает, что эти объяснения текста летописной статьи Г. Лантом связаны с допущением ненужных натяжек, тем более, что привезенные на Русь из Болгарии книги «уже были транслитерированы в кириллицу, многие из них и возникли с самого начала как кириллические тексты».<sup>62</sup> Со своей стороны заметим, что чтение текста из «Повести временных лет» под 1037 г. в трех древнейших дошедших текстах летописей Лаврентьевской, Новгородской 1, Радзивиловской одинаковое. И кроме того, сам этот пассаж о переводе книг с греческого языка полностью согласуется со всем предшествующим и последующим контекстом статьи, написанной и выдержанной в жанре княжеской похвалы.<sup>63</sup> А. А. Алексеев подчеркивает также и тот факт, что лексический анализ переводного текста только тогда убедителен, когда увязан с анализом содержания текста. И в качестве положительных примеров приводит исследование И. Н. Лебедевой «Повести о Варлааме и Иоасафе»<sup>64</sup> и М. А. Моминой в области литургических книг.<sup>65</sup> Основная критика аргументации Ф. Томсона А. А. Алексеевым связана с тем, что, по мнению А. А. Алексеева, она часто малоубедительна и страдает определенной предвзятостью. Так, А. А. Алексеев подчеркивает, что Ф. Томсон часто увлекается в своих небольших по охвату конкретного материала исследованиях культурологическими проблемами, отдавая тем самым дань современной моде, которой следует часть ученых конца XX в. С одной стороны, Ф. Томсон пришел к поразительно точным выводам, сопоставив перечень древнеславянских переводов трех ранних веков существования письменности и монастырскую Патмосскую библиотеку в начале XIII в. Результаты очевидны. Средневековые славянские книжники освоили наследие средней монастырской библиотеки. Эти выводы Ф. Томсона тем более значимы, что вопросы репертуара переводов занимали умы многих славистов XX в., особенно отечественных ученых: В. М. Истрина, М. И. Сперанского, И. П. Еремина, Н. А. Мещерского, О. В. Творогова. Все они по-разному объясняли выбор и интерес к определенным памятникам византийского наследия, но подобных сопоставлений никто из них не предпринимал.<sup>66</sup> С другой стороны обидно, что такой необычайно оригинальный и продуктивный подход был «размыт» совершенно необоснованными выводами о состоянии культуры до XVIII в. (эпохи Петра) как застойном.<sup>67</sup>

И А. А. Алексеев, касаясь вопросов изучения переводов в художественной культуре общества, высказывает интересные соображения. Так, он пишет: «Культура не может быть определена только по характеру переводов, по их интенсивности. Расцвет оригинальной русской литературы в середине и второй половине прошлого столетия сочетался с отсутствием сколько-нибудь серьезных достижений в деле перевода. Причины ясны: большая часть образованного общества обращалась к оригиналам, в переводах не нуждалась. Но расцвет художественного перевода в XX в. свидетельствует не только о слабом знании иностранных языков в русском обществе после революции, он также отражает новое понимание смысла переводческой работы, место перевода в культуре и литературе, к чему впервые в теоретическом плане было привлечено у нас внимание В. Брюсовым».<sup>68</sup> А. А. Алексеев также пытается объяснить особенности и своеобразие переводческой техники в X в. в Болгарии и в средневековой Руси, обращаясь к вопросам культурного, национального и

общественного устройства государств. При этом А. А. Алексеев привлекает исследования В. О. Ключевского<sup>69</sup> и не соглашается с выводами Д. М. Буланина<sup>70</sup> при объяснении причин отсутствия университетского светского образования в средневековой Руси. Упрекает А. А. Алексеев Ф. Томсона и в том, что выводы своих наблюдений над письменностью XI—XIII вв. он переносит и на последующие столетия, доводя их до петровской эпохи. К выводам Ф. Томсона, распространяемым на многовековые процессы развития письменности Древней Руси, по мнению А. А. Алексеева, примыкает и исследование В. Р. Федерера.<sup>71</sup>

Завершая свое полемическое исследование, А. А. Алексеев предлагает несколько критериев для определения восточнославянского характера переводов с греческого в древнейшую эпоху письменности средневековой Руси. Во многом его положения сходны с разработанными ранее критериями О. В. Творогова.<sup>72</sup> Итак, А. А. Алексеев предлагает:

1) Текстологическое исследование рукописного источника с установлением архетипа; при этом следует обратить особое внимание, если это положение не дает достоверных выводов, на такого рода замечания: «Преобладание в рукописной традиции восточнославянских списков при отсутствии или скудости южнославянских источников может быть значимо в том случае, если текст лишен явных черт архаичности. Таково, например, положение дел с библейскими переводами Есфири и Песни песней с толкованиями.

Отсутствие в ранних восточнославянских списках орфографических и иных лингвистических следов южнославянского антиграфа [118] или протографа может быть значимо для поздних по происхождению текстов».<sup>73</sup>

2) Литературная история конкретного текста может быть связана с традицией восточнославянской оригинальной письменности только при указанных выше условиях.

3) Так как лексические восточнославянизмы немногочисленны, то при анализе языка следует учитывать также отдельные грамматические черты: продленный имперфект типа *держажоуть* и ярко выраженную фонетическую особенность: полногласие. Если эти явления характерны для архетипа, то вопрос о происхождении памятника решается положительно. К этому наблюдению А. А. Алексеев делает важное добавление: «Церковнославянские тексты, созданные на Руси, опирались на южнославянские образцы и модели, их лингвистическую основу составляют общеславянские и южнославянские языковые элементы. Вместе с цитатами в них могли проникать также довольно редкие южнославянизмы, так что источниковедческий анализ текста должен предшествовать лингвистическому».<sup>74</sup>

4) Особо выделяется стилистика перевода. Для хорошо выполненных переводов характерна манера свободного обращения с оригиналом, многочисленные экспрессивные приемы (напомним, что об этом очень хорошо писал Н. А. Мещерский). Для плохих же переводов характерны многочисленные грамматические ошибки. И как следствие — малопонятный славянский текст.

5) Особенно важными для решения проблем происхождения текста могут служить исторические свидетельства. Однако они, как замечает А. А. Алексеев, «крайне редки, так что заслуживают полного внимания. Кроме <...> свидетельства о Студийском уставе столь же не случайным должно представляться упоминание в Послании Климента Смолятича имени Никиты, епископа Ираклийского, вероятно, как автора комментариев к Григорию Богослову. Напротив, статья летописи под 1037 г. о школе переводчиков при Ярославе не кажется достоверной, потому что нет ни одного переводного восточнославянского текста, который можно было бы уверенно отнести к первой половине XI в. Несмотря на то что рукописи, доставленные из Преслава в Киев, являлись, вне всякого сомнения, собственностью великого князя, вся литературная работа проводилась в Печерском монастыре. Участие в ней болгарских писателей, знатоков греческого языка, кажется весьма вероятным. Эта школа не пережила на Руси монгольского нашествия. Фактически переводы с греческого были возобновлены лишь Максимом Греком и продолжены в Москве киево-могилянскими учеными в середине XVII в.»<sup>75</sup> Завершая свою дискуссионную статью, А. А.

Алексеев подчеркивает, что перечисленные им критерии конечно применимы и при конкретном исследовании памятников, и при изучении переводной восточнославянской письменности. Никакие идеологические доводы не помогут строго научным поискам в разрешении таких сложных историко-филологических проблем.

Однако доказательства и выводы А. А. Алексеева совсем не убедили Г. Г. Ланта, который в свою очередь опубликовал на страницах «Трудов Отдела древнерусской литературы» статью: «Еще раз о мнимых переводах в Древней Руси (по поводу статьи А. А. Алексеева [119] ва)». <sup>76</sup> В ней автор упорно и твердо отстаивает свою точку зрения, подчеркивая, что чтения статьи из «Повести временных лет» под 1037 г. несут следы искажения и что нельзя принимать ее известия как достоверные свидетельства существования в Древней Руси ранних переводных сочинений, выполненных восточнославянскими книжниками. Так, он пишет: «Теперь нам достоверно известно, что большое количество переводов было сделано южными славянами до 1030 г. и многие по наследству перешли на Русь (а многие из этих последних, вероятно большинство, дошли до нас только в восточнославянских копиях, датируемых после 1250 г.)». <sup>77</sup> А. А. Алексеев, напротив, аргументированно выступает в защиту работ и изысканий в области переводной славяно-русской письменности, отстаивая наблюдения и исследования А. И. Соболевского, Н. А. Мещерского, Л. П. Жуковской и др. И отвечает своему оппоненту на страницах этого же издания. <sup>78</sup>

Наиболее полно и убедительно свои принципы и критерии рассмотрения переводных памятников письменности А. А. Алексеев отразил также в обобщающем труде «Текстология славянской Библии» (СПб., 1999). В этом исследовании, в котором впервые в отечественной филологической науке рассматривается история изучения славянской Библии учеными XIX—XX вв., также подробно рассмотрены и специальные вопросы изучения переводных средневековых текстов. А. А. Алексеев придерживается принципов рассмотрения переводного текста Библии по жанрово-тематическим признакам, учитывая и тот важный факт, что переводы библейских текстов в истории средневековой письменности и культуры имели главным образом вероучительное значение. Изучение библейского рукописного наследия и пристальное внимание ученых ко всем устойчивым формам переписывания текстов, их изменениям или дополнениям на протяжении многих столетий позволяют выработать и критерии сравнительно-исторического подхода для исследования переводных памятников. Кроме того, язык библейских текстов важен для понимания становления и развития норм языка в определенные эпохи. В своей работе А. А. Алексеев воздает должное трудам И. Е. Евсеева, А. В. Михайлова, в которых были очерчены и частично исследованы проблемы славянской библейской филологии в рамках переводной славяно-русской письменности. Большое внимание уделено и исследованиям ученых второй половины XX в.: И. А. Мещерского, Л. П. Жуковской, Х. Ханика. Для круга наших исследовательских проблем особенно важными представляются главы 3, 4, 5, посвященные специальным вопросам перевода текста. Изучению оригиналов славянских библейских переводов и истории славянских библейских текстов. В следующей главе, V, нашей работы мы будем опираться на конкретные выводы и наблюдения А. А. Алексеева.

Исходя из тех критериев, которые были выработаны исследователями переводной письменности для определения времени и места перевода, опираясь на наблюдения наших научных предшественников и результаты нашего собственного анализа, представленные в настоящей работе, мы можем предложить следующие аргументы в [120] пользу древнерусского перевода «Христианской Топографии» и решения вопроса о времени этого перевода:

1. Рукописная традиция как полных списков, так и отрывков свидетельствует о распространении «Христианской Топографии» исключительно в древнерусских рукописях.

2. В отличие от греческой рукописной истории текста, в древне-русской среде зародилась и оформилась традиция выделения и включения в сборники различного содержания отдельных отрывков из «Христианской Топографии». Прослеживаются определенные тенденции при отборе отрывков, возникшие в результате избиратель

ного подхода книжников к фонду переводных сочинений.

Наши наблюдения над отрывками из 2-го Слова могут быть также свидетельством более древнего, чем XV в., времени перевода памятника на древнеславянский язык.<sup>79</sup> Мы имеем в виду тот факт, что сочинение Козьмы могло появиться в среде древнерусских книжников именно тогда, когда в первые века становления христианства на Руси вместе с проповедуемыми библейскими представлениями об историческом процессе складывались и первые естественнонаучные представления. Вероятно, изучение и формирование истории космографических и космологических взглядов в древнерусской письменности, наряду с другими переводными и оригинальными сочинениями, начиналось и с ознакомления с «Христианской Топографией Козьмы Индикоплова».

3. Анализ отрывков из «Христианской Топографии», повествуящих о столпотворении и о ризе первосвященника, приводит к выводу о том, что переводчик не следовал буквально за греческим оригиналом, как это имело место в других случаях (см. с. 93—95 III главы нашего исследования), а видоизменял и дополнял текст, опираясь на описания этих же сюжетов, сохранившиеся в ряде переводных сочинений, таких как: «Слово св. Епифания о 12 камнях» из «Изборника Святослава 1073 г.», «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, «Хроника» Георгия Амартола, «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. Время и место появления всех названных сочинений в древнерусской среде установлено исследователями достаточно определенно — Киевская Русь. Включение «Христианской Топографии» в круг этих памятников также может свидетельствовать о времени и месте ее перевода.

4. «Христианская Топография» Козьмы стала органической частью именно древнерусской письменности и культуры. Об этом говорят результаты влияния этого памятника на духовную жизнь Древней Руси, выявленные и изложенные нами в V главе исследования.

\* \* \*

Несмотря на то что после исследования А. И. Соболевского в последние десятилетия XX в. проблемы изучения переводной славяно-русской письменности рассматривались с разных позиций: взаимоотношений славянских культур, особенностей культур христианского средиземноморского круга, особенностей оригинальной древнерусской письменной традиции, однако выдвинутые им критерии лексического анализа текста для определения достоверности восточнославянского перевода остаются наиболее доказательными. Со своей стороны добавим к перечню слов древнерусской версии сочинения Козьмы еще несколько кроме указанных А. И. Соболевским (см. выше, глава I. С. 35). Они встречаются и в тексте дошедших полных списков, и в отрывках сочинения Козьмы, которые мы и анализируем. Слова эти следующие: *лимень*, *шелкъ*, *тряпцѣ* (*тряпцѣ*), *трѣнѣ* (*трѣнѣ*), *купля* (*куплю дѣяти*), *грамота* (в значении начертания), *звѣздозаконіе*, *теремец*, *посолникъ*. В перечне А. И. Соболевского переведенных в домонгольской Руси памятников три первых слова отмечены им также в «Житии Андрея Юродивого», «Александрии», «Пчеле», апокрифическом «Житии Макария Римлянина», «Пандектах» Никона Черногорца, «Сказании о перенесении мощей Николая Чудотворца в Бар». Как видим, круг указанных памятников связан тематически с сочинением Козьмы, в повествовании которого соединились элементы разных жанров средневековой письменности (агиографического, хронографического и др.). А остальные из указанных слов также встречаются в памятниках, датируемых XI—XIII вв.: «Пандекты» Антиоха, Успенский Сборник, «Хроника» Георгия Амартола, Ефремовская Кормчая. «Александрия». Особо следует сказать о слове «теремец», которым переведено греч. ὁ δῖφος. В древнерусском языке одно из значений слова *теремец* — сень, именно в этом значении это слово употреблял в XII в. игумен Даниил, описывая христианские святыни. А в тексте «Христианской

Топографии» речь идет о кресле, седалище («δίδροσ ἐστὶ κεῖμενος»). Может быть, этот памятник Птолемея представлялся древнерусскому книжнику в форме сени (?). Необходимо выделить также и слова *иерей*, *трапеза*, *комара*, *лимень*. Так, по мнению Н. А. Мещерского, слова *иерей*, *трапеза* греческого происхождения, они широко употреблялись в церковных произведениях домонгольского периода. Эти слова употреблялись и книжниками древнерусского перевода «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия.<sup>80</sup> А *комара*, *лимень*, по мнению Н. А. Мещерского, слова также греческого происхождения, заимствованные изустным путем, но проникшие и в письменную культуру Древней Руси.<sup>81</sup>

Кроме того, следует отметить, что в древнерусской версии встречается и редкая лексика, характерная для древнейшей поры русского языка: *скоть* (в значении деньги), *говядо* (наряду с *воль*). Для древнерусской версии характерно также употребление имен существительных, использующих наиболее распространенный способ образования имен — суффиксальный, но зафиксированных только в данном тексте «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова». Это наблюдение было сделано Л. А. Илюшиной на материале древнерусских списков XVI—XVII вв. сочинения Козьмы.<sup>82</sup> В поле зрения Л. А. Илюшиной попали лишь 11 списков «Христианской Топографии» из собраний Москвы. И хотя основная авторская задача была связана с изучением словообразовательной системы имен существительных в русском книжном языке XVI—XVII вв., но и их анализ также отражает определенные особенности языка перевода сочинения.<sup>83</sup>

[122] Исследовательница отметила также слова: *каление*, *въпрошание*, *напоение*, *напаяние*, *поклоняние*, *ражигание*, *въспротивление*, *съвъпрошение*, *въсхотѣние*, *покрывание*, которые, как она считает, не зафиксированы в других памятниках письменности. Но эти слова, по наблюдениям Л. А. Илюшиной, дошли не во всех списках сочинения Козьмы, «что свидетельствует о том, что они не восходят к эпохе перевода памятника, а внесены переписчиками, составлявшими списки».<sup>84</sup> И далее автор очень убедительно связывает эти выводы уже со словообразовательными процессами книжного языка XVI—XVII вв. Позволим, однако, заметить, что если отдельные слова и не встречаются во всех исследованных Л. А. Илюшиной списках, то это еще не доказательство того, что «они не восходят к эпохе перевода памятника». Для доказательства этого необходим текстологический анализ всех дошедших списков сочинения. И только выявление текста списка, наиболее близкого к оригиналу, может приблизить исследователя к окончательному решению. К перечисленным выше существительным, зафиксированным, по ее наблюдениям, только в исследованных списках сочинения Козьмы, Л. А. Илюшина добавила: *истертие*, *мытие*; *ковачество*, *пламеньство*, *теплотьство*, *болезньство*; *безрѣшие*, *изящие*, *рублевие*, *пасхалие*; *поражанник*, *пороженникъ*, *преименникъ*, *рожданикъ*; *дивитель*; *въсприатель*, *исповѣдатель*, *исписатель*; *гречинь*. Когда в 60-е гг. XX в. Л. А. Илюшина работала над списками текста древнерусской версии «Христианской Топографии», то она могла обращаться лишь к материалам «Словаря» И. И. Срезневского. Поэтому в перечень слов, зафиксированных, по ее наблюдениям, только в тексте древнерусской версии сочинения Козьмы, не попали такие имена существительные, которые могут быть отмечены и в других древнерусских памятниках, оригинальных и переводных. Это уточнение связано с введением в научный оборот «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (первый выпуск вышел в 1975 г., в настоящее время уже вышел 26-й выпуск), подготовленного на материалах картотеки ДРС Института русского языка АН СССР (теперь ИРЯ РАН).

Таким образом, если обратиться к перечисленным Л. А. Илюшиной выше именам существительным, то зафиксированными лишь в тексте «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова» могут быть признаны слова: *напоение*, *напаяние*, *истертие*, *мытие*; *ковачество*, *пламеньство*, *болезньство*; *изящие*, *рублевие*, *пасхалие*; *поражанникъ*, *пороженникъ*, *преименник*, *рожданикъ*; *дивитель*, *въсприатель*, *исписатель*. Остальные выделенные Л. А. Илюшиной существительные отмечены согласно «Словарю русского языка XI—XVII вв.» и в других памятниках. Кроме

того, по-видимому, до появления критического издания текста древнерусской версии сочинения Козьмы трудно с уверенностью судить о круге оригинальных словообразований. Необходим также полный словарь слов древнерусского текста памятника и греческого оригинала. А это проблема следующего этапа исследования текста.<sup>85</sup>

Хотелось бы обратить внимание в связи с выделенными словами Л. А. Илюшиной на слово *рожданикъ* (потомок). Это слово следует рассмотреть в контексте всего фрагмента О Птолемею во 2-м Слове [123] сочинения Козьмы: «Подписание. Суть же и написана на иконѣ, сиа: царь Великыи Птоломѣи сынъ царя Птоломѣа и царица Арсиноа, Богъ братии царевъ Птолемеа и царица Верникиа. *Богъ Спасовъ Рожданикъ, ова убо от отца Ираклии Диева сиа же от матере Дионисовы Диевы // приемъ от отца царство Египетско и Ливииско и Сирииской Финикиа и Кипра и Люкыа*»<sup>86</sup> (ср. греч. «Εἶσιν οὖν τὰ γεγραμμένα ἐν τῇ εἰκόνι ταῦτα· βασιλεὺς μέγας Πτολεμαῖος, υἱὸς βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης Ἀρσινόης θεῶν ἀδελφῶν, τῶν βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης Βερενίκης θεῶν σωτήρων ἀπόγονος, τὰ μὲν ἀπὸ πατρὸς Ἡρακλέος τοῦ Διός, τὰ δὲ ἀπὸ μητρὸς Διονύσου τοῦ Διός, παραλαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν βασιλείαν Αἰγύπτου καὶ Λιβύης καὶ Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Λυκίας...»<sup>87</sup>)

Даже в этом небольшом фрагменте древнерусского текста очень ярко проявляется так называемый пословный принцип перевода, «скрупулезно» передающий и словообразовательные формы «θεῶν σωτήρων ἀπόγονος» «Бог Спасов Рожданикъ». Но что еще важно и что является очень яркой чертой контекста после слов: «Богъ Спасовъ Рожданикъ», так это перевод косвенного падежа Διός от Ζεὺς (в 2 случаях) именем Диева, т. е. переводчик предполагал существование другого греческого мифологического имени. Аналогичная особенность, и именно с переводом имени Зевса, уже была отмечена исследователями в переводах славяно-русской письменности сочинений византийских авторов. Мы имеем в виду наблюдения Н. А. Добролюбова над языком перевода «Хроники» Георгия Амартола, выполненные им для дипломного сочинения в 1856 г.<sup>88</sup> В одной из глав своего исследования Н. А. Добролюбов остановился на «замечаниях об особенностях и достоинствах перевода в сравнении с подлинником» и «замечаниях о грамматических особенностях перевода» и высказал предположение, что переводчиком «Хроники» был не грек, а славянин, который недостаточно владел греческим языком для создания литературного перевода. Так, в переводе обнаруживается и неправильное понимание греческих слов, и незнание традиции греческой мифологии и философии. И в этом ряду непонимания и незнания переводчика отмечены и косвенные падежи Διός от Ζεὺς, употребленные как другое собственное имя.<sup>89</sup>

Можно даже высказать предположение, что и переводчик «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова» принадлежал к тому же кругу книжников, в среде которых появился перевод «Хроники» Амартола.

Таким образом, при обращении к тексту изучаемого памятника — «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова» — на основании изложенных выше наших наблюдений над текстами отрывков, лексических особенностей сочинения и положений, разрабатываемых современными исследователями в изучении переводной письменности, можно с большой долей вероятности говорить!) о переводе текста древнерусскими книжниками в домонгольской Руси.

Среди проблем истории перевода находится и вопрос о связи древнерусской рукописной традиции с сохранившимися греческими списками. Как известно, еще Ф. И. Буслаев считал, что Синайская [124] и Лавренцианская рукописи в оформлении текста связаны своими иконографическими деталями с двумя списками славяно-русской редакции: ГИМ, Синодальное собр., № 997, XVI в. и РНБ, собр. ОЛДП, № 399, XVI в.<sup>90</sup>

Остановимся подробнее на возможной связи греческого кодекса № 1186 из собрания Синайского монастыря св. Екатерины и древнерусской традиции сочинения

Козьмы.<sup>91</sup> Оказывается, эта связь возможна, но при обращении к совершенно другим, не менее важным, чем иконографические параллели, сопоставлениям.

В своем исследовании «Путешествие на Синай в 1881 году» Н. П. Кондаков подробно останавливается на описании Синайского кодекса сочинения Козьмы, он датировал рукопись X—XI вв., сравнивал ее миниатюры с другим греческим кодексом сочинения, представленным Лавренцианским списком, дал полное описание 43 миниатюр и указание на изображения животных на последних листах рукописи 204—206.<sup>92</sup> В издании Синайского альбома Ю. Рауля должно бы быть 23 снимка миниатюр «Христианской Топографии» (снимки эти были выполнены во время путешествия Н. П. Кондакова на Синай).<sup>93</sup> Эта рукопись представляет интерес и в связи с изучением частного вопроса, касающегося не иконографической традиции памятника, а явления, на наш взгляд, интересного и важного в истории древнеславянской традиции памятника. Речь идет о древнеславянских пометах, которые помещены на полях греческого текста сочинения. (Хотя повторяем, что для истории иконографической традиции древнерусской версии именно Синайский кодекс может представлять несомненный интерес, так как и Н. П. Кондаков вслед за Ф. И. Буслаевым считал, что он близок указанным двум иллюминированным древнерусским рукописям Синод., № 997, XVI в. и собр. ОЛДП, № 399.)<sup>94</sup> Но хотелось бы специально остановиться на анализе древнеславянских помет. Н. П. Кондаков писал в «Путешествии на Синай в 1881 году», что Синайская рукопись была известна уже епископу Порфирию, во время его второго путешествия на Синай он знакомился с ней, но «ограничился лишь заметкою, что она ранее X века. Везде писана и разрисована одною рукою, сохранилась хорошо, но многих листов нет... На полях имеются схолии и глоссы киноварью. Любопытны русские глоссы, перевод греческого оглавления позднейшего времени. Немногие инициалы растительного стиля, встречаются виньетки: две куропатки клюющие и пр.»<sup>95</sup>

Итак, русские глоссы — перевод греческих оглавлений, как считал Н. П. Кондаков, позднейшего времени. Благодаря мадам Ванде Вольска-Конюс, которая согласилась помочь мне в изучении древнерусской версии сочинения Козьмы, удалось изготовить микрофиши рукописи, и поэтому появилась возможность обратиться к их подробному изучению.

Конечно, не обращаясь к рукописи *de visu*, трудно по микрофишам точно определять особенности письма и точно локализовать его происхождение и принадлежность.

Итак, число древнерусских схолий более 50. Расположены они на листах сочинения Козьмы наряду с греческими схолиями, которых безусловно больше. Греческие пометы должны составить также предмет специального исследования. Они разновременны, более [125] позднего происхождения, чем рукопись, и можно выделить не менее трех писцов, очень внимательно читавших «Христианскую Топографию». (Конечно же, не видя кодекса, мы не можем определить и киноварный характер схолий и глосс.) Что же касается древнеславянских схолий, то можно говорить, с некоторой долей осторожности, о письме XVI в., конца XVI—начала XVII в., т. е., может быть, о разновременности помет. Письмо — полууставное, с элементами почерков, которые известны в палеографии как тырновские, распространенные в юго-западной и западной России в XVI—XVII вв., а в московской книжной среде до середины XVI в.<sup>96</sup>

Большинство помет находится в той части Синайского кодекса, которая содержит первые пять Слов сочинения (части, которая изначально и составляла сочинение Козьмы, как это признано всеми исследователями). И, как правило, они расположены не на листах с миниатюрами.

По своему содержанию пометы неоднородны. Прежде всего можно разделить их на отдельные слова и словосочетания. Словосочетания значительно больше, чем отдельных слов. Отдельные слова:

**тръснї** (л. 10), **вино**, **мѣсо**, **єлен** (л. 14 об.), **начало**, **ѣстїе** (л. 22 об.), **вниман** (л. 22 об.) и др. Среди же словосочетаний можно также выделить несколько групп помет:

1. Группа помет, говорящих о начитанности книжника в ветхо заветной и



новозаветной письменности: в дѣланіюх смотри (л. 9), в Даніиле и Апостолѣ (л. 12 об.), Амоса чти (л. 11), Противно Златоусто писанію, Соломон пиши (л. 67 об.). Как правило, эти пометы связаны с теми фрагментами сочинения Козьмы, где рассматриваются тема ангелологии, существования четырех царств, представления о земных пределах и т. п.

2. Интересна группа помет к 3-му Слову сочинения Козьмы, в заключительной части которого говорится о распространении христианства и существовании христианских общин во многих уголках Вселенной уже во времена путешествия самого Козьмы (т. е. в VI в.): во Индіи христїане (л. 58), еллински вѣсѣдуют (л. 58). в Персиде христїане (л. 58), Африка и Маурїтанї (л. 58).

3. Ряд помет географического и этнографического характера: во Египтѣ (л. 10 об.), во наводненїи Нилскон рѣки (л. 27), во турсах (л. 10 об.), во римском царствїи (л. 32 об.).

4. Следующая группа помет, связанных с библейской историей: почто потоп наведеса (л. 23 об.), свидетельства о ранскон земли (л. 24), во четырех реках (л. 24 об.), почто в шесть днїи вся сотвори (л. 51 об.), почто словом вся сотвори (л. 52). почто во т ревра создана жѣна (л. 53), во изобретенїи художеств, во ризах кожанца (л. 60).

5. Пометы, связанные с одной из основных тем сочинения, об образовании земли, о солнце и луне: во сѣни что вбразова (л. 22). землемерїе исчитан (л. 25), двѣ токмо небѣ (л. 53 об.), во изгивели и затменю солнца и луны (л. 68) (эта помета встречается дважды), [126] во теченїи светил (л. 35), знаи что есть сѣнь образ вещь (л. 70 об.).

6. Группа помет явно носит оценочный эмоциональный характер: вниман прилежно (л. 19), чудно зде, вниман (л. 22 об.), красное слово (л. 50), мудрость зде (л. 47 об.), человек всего есть вышшїи и горѣ зрит (л. 52 об.), вниман зде (л. 69), изящнаа метафора (л. 71).

7. Очень интересна, на наш взгляд, помета, носящая характер библейско-археологический: стопы колес фараоновых (л. 71 об.).

Итак, пометы не есть перевод греческих заглавий или помет. Так, встречающиеся греческие схолии, как правило, передаются через помету σχο<sup>λ</sup>. Нет никаких славянских параллелей возле греческого имени Ζαχαρίας, географического названия ζυγιον, греческого παραγραφή εις τον Πτολεμαϊον. (Хотя не исключено, что отдельные греческие написания могли принадлежать и перу древнеславянского книжника.) Поэтому можно предполагать, что древнеславянские пометы носят самостоятельный характер понимания и осмысления текста древнеславянским (а может быть, древнерусским) книжником.

Какие черты графики помет свидетельствуют в пользу письма XVI в.?

Это употребление **ї**, **ѵ**, **ѡ**, **ѡ**.

**ї** — перед гласным (в падежных окончаниях писанію, царствїи),

**ѵ** — там, где в греческом было *v* (Египет, Мауритания),

**ѡ** — не только в начале словосочетаний начальная, как предлог, но в окончании падежей (в дѣланіюх, во четырех реках, во аггелюх),

**ѡ** — (мѡсо, изящнаа) (наряду с **ѡ**).

Какие фонетические и морфологические явления могут свидетельствовать о принадлежности помет XVI в.? Появление **ѡ** на месте падения редуцированного — явление, связанное со 2-м южнославянским влиянием и проявившееся после XV в. (**ѡ** четырех, во аггелюх), очень характерная черта для западнославянских текстов. При этом сохраняется и «ѣ» (ять) в аналогичных падежных ситуациях демонѣх. Сохранение старославянских норм в словах в дѣланіюх, четвертаа при употреблении уже и **ѡ**. Еще одна черта мена «у» на «ѣ» (турсїи от трус, ѣстїе от устїе. Это явление отмечает в своей «Славянской кирилловской палеографии» Е. Ф. Карский. Явление, как он считал, характерное для книжной общеславянской среды на Афоне и Синае).<sup>97</sup> О древнерусской принадлежности можно судить лишь по косвенным данным, в частности, это то, что характер помет удивительно связан с избирательной тематикой

дошедших древнерусских фрагментов «Христианской Топографии», сохранившихся во многих списках XV—XVIII вв. (см. об этом главу II нашего исследования).

И кроме того, очень характерная древняя высокая книжная лексика: **демонъ** (а не бес), **князь** (в значении господин), «исчитати изгибель», «прелюбодѣи», «риза» в значении одежда (**w рнзаѡхъ кожанца**).

Но — «метафора»? Это слово появляется на рубеже XVI—XVII вв. Может быть, здесь более раннее, первое из зафиксированных употребление этого слова? [127] Приведем дополнительные некоторые, на наш взгляд, важные наблюдения для анализа помет. Так, еще М. Н. Сперанский в конце 20-х гг. XX в. написал работу «Славянская письменность XI—XIV вв. на Синае и в Палестине».<sup>98</sup> В ней он подробно рассматривает сохранившиеся материалы описаний славянских рукописей Порфирия Успенского и Антонина Капустина, Н. П. Кондакова и фотоматериалы В. Н. Бенешевича и приходит к выводу о существовании в этой культурно-исторической среде дошедших 43 славянских рукописей богослужебного характера и характера назидательного чтения сербского и болгарского извода, выделяет этапы существования и изменений притока славянских рукописей на Синай: «В XII в. начинается приток славянских рукописей на Синай, причем среди них в это время заметную роль играют тексты глаголические, затем в XIII в. приток этот несколько ослабевает, но сразу заметно опять усиливается в XIV в., в XV в. он опять слабеет, чтобы в последующие века стать очень незначительным; иначе сказать, славянская письменность в XII—XV вв. на Синае живет более интенсивной жизнью, испытывая некоторые колебания, нежели в XVI—XVIII вв.»<sup>99</sup> Интересно, что среди лих славянских рукописей только четыре XII—XIV вв. древнерусского извода. Так, одна из древнейших дошедших датируется XII в. и называется Апостол (как хочется думать, что именно эту рукопись сравнивал книжник XVI в. с греческой «Христианской Топографией Козьмы Индикоплова»).

Эта рукопись заслуживает особо быть рассмотренной в нашем исследовании. Современный шифр рукописи Sin. slav. 39. По своему составу она определена учеными как Апостол-апракос с Месяцесловом и по почерку датируется концом XII в. или рубежом XII — XIII вв.<sup>100</sup> Напомним, что в течение XIX—XX вв. она неоднократно привлекала внимание ученых: епископа Порфирия Успенского, архимандрита Антонина Капустина, В. Н. Бенешевича, В. А. Розова, Н. Н. Розова, участников экспедиции Библиотеки конгресса США, которой руководил К. Кларк, И. Тарнанидиса, М. Альтбауэра, Я. Н. Щапова.<sup>101</sup> По мнению Я. Н. Щапова, рукопись эта — древнерусского происхождения, а не южнославянского, как считали некоторые из его предшественников. Особый интерес для исследователей представляет запись писца Добра на л. 44-44 об. Приводим текст записи в переводе на современный русский язык Н. Н. Розова: «Господи, помози рабу своему Георгиеви, стяжавше книги сия. Даи ему Бог внити в царство (непонятный знак: либо йотированное «е», либо лигатура «и» и «е»). — *Н. Р.*). А се Георгии стяжал книги сия в память дедом и прадедом, а им имена: ...(следует большой, перечень имен). Положи Георг у Петру Павлу книгу в память в церкви. Кто возмет ис церкви анафома ему. Добр писал. Братья, не кленете».<sup>102</sup> Эту запись в ее графическом исполнении с восстановлением смысловых чтений по микрофильму, хранящемуся в РНБ (МфР/549). опубликовал и Я. Н. Щапов, к сожалению, на микрофильме отсутствуют первые 15 листов рукописи.<sup>103</sup> Анализ текста уникальной записи, в которой содержится упоминание более двух десятков имен из прочитанных и около десяти на загрязненных частях листа рукописи, позволяет сделать важные выводы и для истории древнерусской письменности и культуры, и для истории монастырской книж[128]ной традиции, и для истории становления связей монастыря св. Екатерины на Синае и книжников Древней Руси. Я. Н. Щапов подробно рассмотрел вопросы, связанные с историей возникновения подобного рода рукописи, связь ее содержания с перечнем имен для поминания, в котором были названы предки Георгия. Я. Н. Щапов считает, что Георгий был житочным горожанином, а церковь, о которой упоминается в записи, это — церковь Петра и Павла «на Синищи горе», на кладбище (построенная в 1185—

1192 г. в Новгороде). Эти выводы Я. Н. Шапова основываются на анализе летописных сведений Новгородской 1 летописи старшего и младшего изводов. При этом исследователь убедительно отверг возможные первоначальные связи рукописи с другими известными по летописям храмами Древней Руси в Новгороде, Смоленске, Ярославле. Особое внимание Я. Н. Шапов уделит имени автора приписки. Он предположил, что им мог быть писец не только по имени Добр, но и по имени Добрило, так как конечные буквы имени трудно поддаются прочтению. Из обширного перечня славянских мужских имен с корневой основой *добр* Я. Н. Шапов отдает предпочтение Добру или Добриле. Ученый даже высказал предположение о возможной связи писца Добра (Добрилы) с писцом известного памятника XII в. «Добрилова» или «Симеонова Евангелия» (РГБ, собр. Рум., № 163).<sup>104</sup> В 1995 г. Я. Н. Шапов имел возможность ознакомиться с восточнославянскими рукописями монастыря св. Екатерины на Синае de visu. Это произошло после длительного перерыва, насчитывающего несколько десятилетий отсутствия научных контактов отечественных ученых с обителем. Исследователь сумел прочесть полностью имя писца: «А Добрь псалъ». Более того, на полях листов рукописи, как он отметил, сохранились приписки имен с заупокойными поминаниями, среди которых есть и имя заказчика книги — «Георгии». Таким образом, по мнению ученого, именно для поминания ушедших и могла быть принесена эта рукопись на святую гору Синай, но уже после смерти владельца, скорее всего, в XIII в.<sup>105</sup> Самым же важным, на наш взгляд, представляется заключение, к которому подвели многолетние изыскания Я. Н. Шапова после открытий отечественных ученых XIX—XX вв. в изучении славянского рукописного наследия на Синае: «Наличие на Синае русского Апостола с Месяцесловом конца XII в. позволяет дополнить эту интересную картину новыми наблюдениями. Появление там русских книг XII—XIV вв. может быть объяснено деятельностью русских паломников, которые, не удовлетворяясь поминовением своих усопших в разных местах на Руси, совершали его в святых местах христианского Востока. По таким косвенным свидетельствам прямые связи Руси с Синаем должны быть отнесены уже к XII—XIII вв.».<sup>106</sup> Это заключение ученого особенно важно потому, что документальных свидетельств о связях Древней Руси с синаитами ранее XIV в. не сохранилось. В Новгородской 1 летописи под 1376 г. находится запись: «той же весне прииде в Новъград митрополит Марк от святей Богородици со Синаискои горе милостыня ради».<sup>107</sup> Таким образом, нельзя исключить и возможности более раннего, до конца XIV в., знакомства древнерусских книжников с сокровищами греческих рукописей монастыря. [129]

Традиция оставлять читательские пометы на старинных рукописных книгах Синайского монастыря св. Екатерины имеет глубокие корни. Так, В. Н. Бенешевич в списке «Лиц, бывших на Синае, и трудах о Синае» приводит текст автографа 1568 г.: «„Приде рабъ Божии многогрешный попъ Петръ отъ Подунавію отъ града Никополь въ монастырь Синайский в лѣто 7016 при епискупа Евгенія“ (запись на слав. Четвероевангелии XI—XII в. в Син. мон.)».<sup>108</sup> Остановимся подробнее на этом свидетельстве, опубликованном В. Н. Бенешевичем. Теперь мы можем с уверенностью говорить, что запись попа Петра находится в известном «Добромировом Евангелии» XII—XIV вв. (названном так по имени одного из писцов, попа Добромира, и хранящемся в РНБ, Q.П. 1.55, рукопись поступила от И. В. Ягича, часть рукописи по-прежнему находится на Синае, 2 листа в Национальной библиотеке Парижа).<sup>109</sup> На л. 183 об. этой рукописи и находится указанная помета. Однако следует привести ее в начертаниях, близких оригиналу:

+з<sup>а</sup> є прінде ра<sup>в</sup> Бжїи мнѣ<sup>г</sup> грѣшнїи по<sup>п</sup> перъ . ѿ подѣнавїю ѿ гра<sup>д</sup> никѡль въ  
мона<sup>с</sup>тїи синаскїи. въ лѣ<sup>т</sup> збѣ прї епїкѣпа евгенїа

Графика приписки весьма близка графике письма помет древнеславянского книжника на полях греческой рукописи «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова» из собрания Синайского монастыря. Более того, Е. Ф. Карский в своем труде по палеографии неоднократно рассматривает образцы письма «Добромирова Евангелия» и его приписок.<sup>110</sup> Поэтому с осторожностью можно говорить о сходстве

почерков помет в обоих названных кодексах. Во всяком случае, мы можем говорить, что славянские пометы писца из греческой рукописи с сочинением Козьмы связаны с традициями тырновского письма, а сам писец связан с кругом книжников этой школы. Удивительно и то, что писец обращал внимание как раз на те темы сочинения Козьмы, которые были интересны и для древнерусских книжников и особенно тщательно ими переписывались: о сотворении мира, о звездном течении, о распространении христианства, о Римском царстве и др. Остаются, правда, и некоторые не решенные без непосредственного обращения к рукописи вопросы. Так, никаких следов существования помет (ни греческих, ни славянских) нет в бумагах Порфирия Успенского. Нам известно по микрофишам лишь то, что он также оставил свой автограф в конце рукописи: «Въ июнѣ месяцѣ 1850 года прочитал сию рукопись и сдѣлал вымѣтки изъ оной Архимандрит Порфирии». Впоследствии В. И. Бенешевич опубликовал эти «вымѣтки», но ни о каких древнеславянских или древнерусских пометах на полях рукописи в этих выписках не упоминается.<sup>111</sup> В 1870 г. рукопись видел и архимандрит Антонин Капустин. В IX томе его Дневника сохранились подробности пребывания его в монастыре св. Екатерины в августе—сентябре 1870 г. Так, 13 августа он записал: «Пересмотрел в библиотеке славянские рукописи. Их 13 на коже и 20 на бумаге. После обеда нас ввели в третью библиотеку, переполненную рукописями. Тут были греческие, арабские, грузинские, сирианские, коптские, абиссинские и. может быть, даже армянские... Есть одна глаголическая книжка. *Видел Косму Индоплателя* (подчеркнуто мною. — Е. П.). папирус і ру[130]зинский и пр. и пр. Аи да Синай!» (л. 128 об.).<sup>112</sup> Однако замечаний о пометах на полях кодексов нет. Не обнаружили их мы и на снимках альбома Ю. Рауля, и на сохранившихся фотографиях в архиве Н. П. Кондакова.<sup>113</sup> Вероятно, они потому не привлекли особого внимания ученых, что из-за сложных условий пребывания и работы в стенах монастыря в первую очередь необходимо было ознакомиться со всем репертуаром рукописей и постараться дать полное описание особенностей каждого кодекса. Может быть, если придется когда-либо посетить Синайские святыни и попасть в библиотеку рукописей (как ее называли, *ιατροεῖον ψυχῆς* — «лечебница души»), то вопросы происхождения древнеславянских помет, разбросанных на листах «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова», будут непременно решены.

---

<sup>1</sup> *Dujčev I. Les rapports littéraires byzantino-slaves // Mediovo bizantino-slavo. Roma, 1968. Vol. 2. P. 13.*

<sup>2</sup> *Соболевский А. И. Особенности русских переводов домонгольского периода (1897 г.) // Соболевский А. И. История русского литературного языка / Изд. подгот. А. А. Алексеев. Л., 1980. С. 139.*

<sup>3</sup> *Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках // СОРЯС. I—XL. СПб., 1867. Вып. 2. С. 1 — 19.*

<sup>4</sup> См.: *Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.). Пг, 1922. С. 10.* Так, во введении, в разделе первом «Византийское влияние на древнерусскую литературу и ее самостоятельность» ученый отмечал, рассматривая особенности сочинений естественного жанра и, в частности, Шестодневов: «В близкой связи с „Шестодневом“ стояли два памятника: 1) „Физиолог“ и 2) „Христианская Топография“ Козьмы Индикоплова. „Физиолог“ состоит из рассказов о неких животных, из описаний их признаков и свойств, с добавлением символического значения каждого животного. Памятник этот древнерусскими книжниками читался, но влияние на памятники русского происхождения имел небольшое: по своему содержанию, именно по элементу символики, он не мог оказать влияния на составление подобного самостоятельного произведения. „Христианская Топография“ Козьмы Индикоплова описывала устройство мира; она была составлена в опровержение системы Птолемея и со держала результаты византийской учености. Она была рано переведена на Русь (не в Болгарии), и в извлечениях ею пользовались русские книжники, но также вполне понятно, что создать что-либо подобное свое они не могли: для этого требовались особые знания, которых у древнерусских книжников не было и в минимальной дозе».

<sup>5</sup> См.: Труды IX Археологического съезда в Вильне. М, 1897. Т. 2.

<sup>6</sup> *Соболевский А. И.* Особенности русских переводов... С. 134—137.

<sup>7</sup> Теоретические и историографические проблемы изучения русской переводной литературы детально рассмотрены Д. М. Буланиным. См.: История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1. СПб., 1995. Глава 1. Древняя Русь. С. 18—73. В исследовании сделан также подробный разбор новейшей отечественной и зарубежной литературы.

<sup>8</sup> Вопросы изучения переводной древнеславянской письменности, проблемы взаимоотношений древнерусской и южнославянской литератур, вопросы периодизации и влияний рассмотрены в кн.: *Лихачев Д. С.* Развитие рус[131]ской литературы X—XVII веков. Л., 1973. С. 15—35. Здесь приводится и обширная библиография.

<sup>9</sup> Там же. С. 34.

<sup>10</sup> Текст цитируется по изданию «Повести временных лет»: ПСРЛ. М., 1962. Т. 1. Стб. 151—152. О раннем распространении грамотности и книжного искусства на Руси свидетельствует и замечательное открытие в 2000 г. в Новгороде деревянного кодекса из трех липовых досок-цер, датированных 20-ми гг. XI в. См., например: *Зализняк А. А., Янин В. Л.* Новгородский кодекс первой четверти XI в. — древнейшая книга Руси. // ВЯ. М., 2001. № 5. С. 3—25.

<sup>11</sup> *Мещерский Н. А.* Источники и состав древней славяно-русской письменности IX—XV веков. Л., 1978. С. 13. См. также *Турилов А. А., Флоря Б. Н.* Христианская литература у славян и середине X—середине XI в. и межславянские культурные связи // Христианство и странах восточной, юго-восточной и центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002. С. 398—458. Здесь приводится и обширная библиография вопроса.

<sup>12</sup> *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958.

<sup>13</sup> *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов. Исследование и текст. М., 1893.

<sup>14</sup> *Редин Е. К.* Христианская Топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским спискам / Под ред. Д. В. Айналова. М., 1916. Ч. 1; *Срезневский И. И.* Сведения и заметки... Вып. 2, С. 1—19.

<sup>15</sup> *Григорьев А. Д.* Повесть об Акире Премудром. Исследование и тексты М., 1913.

<sup>16</sup> *Истрин В. М.* Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906. С. 2—70.

<sup>17</sup> *Вилинский С. Г.* Житие св. Василия Нового в русской литературе I—II Одесса, 1911—1913.

<sup>18</sup> *Соболевский А. И.* Особенности русских переводов. С. 134—147; см. также: *Мещерский Н. А.* 1) К вопросу об источниках Повести временных лет // *Мещерский Н. А.* Избранные статьи. СПб., 1995. С. 46—57; 2) Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской литературе (К изучению славянской версии книги Еноха) // ТОДРЛ. М.; Л., 1963. Т. 19. С. 130—147; 3) К истории текста славянской книги Еноха. (Следы памятников Кумрана в византийской и старославянской литературе) // ВВ. М., 1964. Т. 24. С. 91—108. В связи с актуальностью разработки темы «Славяне и их соседи» в конце 70—90-х гг. XX в. отечественные и зарубежные исследователи вновь обратились к изучению еврейского хронографического сочинения так называемого «Иосипона», текст которого, как и доказал Н. А. Мещерский, был известен автору «Повести временных лет». В настоящее время вопрос о степени влияния еврейского перевода «Иосипона» на летописное повествование Древней Руси осложняется необходимостью «в подробном текстологическом исследовании и комментировании, ориентированном на историю славянства и Восточной Европы», как считает В. Я. Петрухин. См.: *Петрухин В. Я.* Славяне и Русь в «Иосипоне» и «Повесть временных лет». К вопросу об источниках начального русского летописания // Славяне и их соседи. Вып. 5. Еврейское наследие в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Средние века—Новое время. М., 1994. С. 44—56. В работе также подробно рассматриваются новейшие исследования, приводится обширная библиография. А введение в научный оборот в 1991 г. всего комплекса рукописей Мертвого моря позволило современным исследователям